

В. П. АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ

Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго

Княжеские жития XI—XIII вв., как особая литературная форма, служившая для прославления национальных героев, с XIV в. теряют свой преимущественно историко-публицистический характер, и житийные элементы начинают выдвигаться в них на первый план. Панегирики национально-историческим героям превращаются быстро в рассказы о христианских подвижниках. Элементы житийного стиля оттесняют историческое повествование. Вероятно, этот процесс был обусловлен разными причинами. Прежде всего теряли остроту те политические тенденции, которые в свое время послужили основанием для возвеличения определенных исторических лиц. С другой стороны, регламентация церкви становилась строже и, возможно, церковная власть для канонизации или хотя бы местного прославления как святого светского лица требовала от него не только общественно-государственных подвигов, но и выдающихся христианских добродетелей. По этим именно причинам поздние редакции княжеских житий XI—XIII вв. стремятся подогнать своих героев под общий тип „святого“ — христианского подвижника, пользуясь для этого привычными шаблонами агиографического стиля, за неимением реального биографического материала.

Сближение национально-исторических героев с образцовыми христианскими подвижниками коснулось не только старых уже канонизованных или местно чтимых князей. Биография Дмитрия Донского, сложенная после его смерти, пошла по тому же пути стилизации героя Мамаева побоища в духе житийно-панегирической литературы конца XIV—XV вв. Всеми атрибутами святого оказался наделенным в этой биографии князь, не только не канонизованный, но и не причислявшийся никогда к местно почитаемым церковью деятелям. Биография Дмитрия Донского положила начало новому типу исторических панегириков, которые характеризуются преобладанием в них элементов житийно-панегирического стиля и скупо подают исторические факты.

„Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго“ сохранилось в составе летописных сводов. Лучшие и наиболее полные тексты его содержатся в Новгородской IV летописи (изд. по „Голицынской летописи“ И. Снегиревым. Русский Исторический Сборник, т. III, М., 1838, стр. 81—109, и Полное собрание русских летописей, т. IV, ч. I, вып. 2, Л., 1925, стр. 351—366). Полный текст Слова читается в Софийской первой летописи (ПСРЛ, т. VI,

СПб., 1853). В Никоновской летописи в Слово вставлен эпизод из Духовной грамоты Дмитрия Донского, пропущен плач княгини Евдокии, опущена и средняя часть похвалы, с философскими размышлениями автора (изд. ПСРЛ, т. XI, стр. 103—116). В „Древнем Летописце“, как в Никоновской летописи, вставка из Духовной грамоты и пропуск в похвале (ПСРЛ, т. XI, СПб., 1897, стр. 108—121, и отдельное старое издание СПб., 1774—1775). В Степенной книге текст Слова так же сокращен в похвале, как в Никоновской летописи и Древнем Летописце, но расширен риторическими добавлениями и вставками из Летописной повести (ПСРЛ, т. XXI, вторая половина, СПб., 1913, стр. 393—407). В Львовской летописи после краткого сообщения о смерти великого князя Дмитрия Ивановича помещен плач княгини Евдокии в сокращенной передаче, плач-похвала автора, сложенный из плача автора по Александре Невском и обычной похвалы „Слова о житии“, хотя и с сокращениями в тексте (ПСРЛ, т. XX, первая половина, СПб., 1910, стр. 206—209).

1

Содержание „Слова о житии“ складывается из мало фактической исторической части, заканчивающейся рассказом о погребении великого князя и перечнем присутствовавших на церемонии высших церковных чинов, — и похвалы-плача автора. В этой риторической похвале, изобилующей ссылками не только на библейские книги, но и на отеческую литературу („великого Дионисия“, „великого Василья“), и даже на „древних елиньских философ повести“, „Платона и Пифага“, средняя часть особо выделяется философскими размышлениями и какими-то автобиографическими намёками. Именно эта-то часть оказалась пропущенной в группе текстов, восходящих, видимо, к одному оригиналу: в Древнем Летописце, Никоновской летописи и в Степенной книге. Интересно, что в отрывке, сохранившемся во Львовской летописи, эта резко отличающаяся от остального текста похвала часть все же воспроизведена.

Первая — историческая часть — „Слова о житии“ складывается из схематичных описаний битв на Воже и из Куликовом поле, риторических характеристик мужества, талантов правителя и христианских добродетелей, которыми наделен был Дмитрий Донской, и обширного плача княгини-здовы по умершем великом князе. Каковы литературные источники этой части „Слова о житии“?

Среди литературных произведений на тему Куликовской битвы „Слову о житии“ уделялось исследователями наименьшее внимание. С. К. Шамбинаго в своем специальном исследовании „повестей о Мамаевом побоище“ (СПб., 1906) ограничился краткой заметкой: „позеть об Александре (Невском)... в значительной степени повлияла на составление жития Дмитрия Донского“ (стр. 66); это житие легло в основу повести о Мамаевом побоище в Степенной книге, где оно было распространено „на счет вставок из Летописной повести и риторических украшений в современном составлению стиле“ (стр. 352). Единственным источником „Слова о житии“ в части, касающейся описания Куликовской битвы, С. К. Шамбинаго считает Летописную повесть (стр. 353).

К тому же источнику возводит эту часть „Слова о житии“ акад. А. А. Шахматов (рецензия на исследование С. К. Шамбинаго — Отчет о 12-м присуждении премий митр. Макария в 1907 г., СПб., 1910, стр. 119—121). Уточняя заметки С. К. Шамбинаго, рецензент указывает, что автор „Слова о житии“ использовал Летописную повесть в той ее полной редакции, отдельные чтения которой восстаиваются по раз-

ным типам повести: по своду 1448 г. (в позднейшей работе А. А. Шахматов отказался от такой датировки свода, отнеся его к более раннему времени), по Московской летописи и по краткой редакции, содержащейся в Хронографе 1512 г. Этот вывод сделан А. А. Шахматовым на основании анализа картины Куликовской битвы; единственным источником этой картины в „Слове о житии“ А. А. Шахматов признает Летописную повесть, отрицая самостоятельное использование автором „Слова“ паримийного чтения о Борисе и Глебе (стр. 120). Ссылаясь на слова — „но токмо слышах много народ глаголющ: о горз нам, братье!“, — А. А. Шахматов полагал, что „составитель Слова присутствовал при погребении“, и что, следовательно, „Слово составлено вскоре после кончины Дмитрия Ивановича“ (стр. 119). 1390-ми годами датирует „Слово о житии“ и С. К. Шамбинаго в своей статье, посвященной повестям о Мамаевом побоище во II томе „Истории русской литературы“ (ч. I, стр. 208). М. Н. Сперанский (История древней русской литературы, М., 1914, стр. 365—366; М., 1921, стр. 37) считал „Слово о житии“ „более поздним (чем Задонщина и „Сказание о Мамаевом побоище“) и слабее отразившим влияние воинской повести Киевского периода“ памятником, который „тем сильнее отразил государственные принципы в лице Дмитрия Донского и тем яснее отметил религиозную тенденцию в фактических данных и их освещении“.¹

Итак, для исторической части „Слова о житии“ исследователями называется обычно единственный источник — Летописная повесть. Однако вопрос о соотношении исторических данных и их художественного выражения в биографии Дмитрия Донского с предшествующим изложением тех же событий в исторической литературе требует пересмотра.

С. К. Шамбинаго указывал в своем исследовании, что главным источником боевых картин в Летописной повести о Мамаевом побоище была повесть-житие Александра Невского, через которую в Летописную повесть вошли отголоски паримийного чтения о Борисе и Глебе. И для А. А. Шахматова и для С. К. Шамбинаго оба памятника — житие Александра Невского и паримийное чтение — в „Слове о житии“ отражены только через посредство Летописной повести. При ближайшем рассмотрении, однако, это утверждение не оправдывается.

Летописной повестью автор „Слова о житии“ пользуется весьма умеренно, стилистически отдаляясь от нее на протяжении всего рассказа о Куликовской битве и о связанных с нею событиях. Первый эпизод „Слова о житии“ — Мамай угрожает идти войной на русского князя. В Летописной повести этот эпизод правильно помещен после рассказа о поражении татар на Воже: разгневанный этой неудачей Мамай хочет отомстить русским. В „Слове о житии“ переговоры Мамай с „князьми и рядцами“ о предстоящем походе на Русь предшествуют битве на Воже. Самый эпизод изложен здесь стилистически иначе, чем в Летописной повести; сохраняется лишь общий смысл угрозы:

Слово о житии

Летописная повесть

преиму землю Рускую и церкви поидемь на Рускаго князя и на
хрстьянския разорю и веру их силу Рускую, яко же при Батыи

¹ Мысль о позднем происхождении „Слова о житии“ была высказана еще И. Снегиревым, в предисловии к изданию (Русский Ист. Сборник, т. III, М., 1833, стр. XVII): „В век Мамаея употребителей был этот род сочинения и, вероятно, тогда же древнее Сказание о битве Донского с Мамаем... переделано, переиздано и составило смесь песнопения с легендой, церковного слога с народным древнего с средним“. „Род очинений“, к которым И. Снегирев приравнивает „Слово о житии“, — похвальные слова святым, в частности Епифанию Премудрому.

на свою преложу и велю им поклоняться своему Махмету; идеже церкви были, туто ропаты поставлю и баскаки посажу по всем городом Рускым, а князи Рускыа избию.

Второй эпизод „Слова о житии“—битва на Воже—также изложен с заметными отличиями от Летописной повести.

Слово о житии

И посла прежде себе Мамай воеводу поганого Бегича с великою силою... и съступися [Дмитрий] с погаными в Рязаньской земли... И поможе бог... князю Дмитрию, а поганыа Агаряны посрамлены быша... иныа же побегоша; и возвратися Дмитрий с великою победою...

3-й эпизод—молитва великого князя перед походом—совпадает в обоих памятниках лишь последней цитатой из псалма (113, ст. 10).

Слово о житии

Слышав же Дмитрий князь и вздохнув из глубины сердца к богу и пречистей его Матери и рече: о пресвятая госпоже, дево богородице... моли сына своего за мя грешнаго... да не поражаются враждующи мне бес правды, ни ркуть погании: где есть бог их, на него же уповаша. Да постыдятся вси являющи рабом твоим злая...

4-й эпизод—обращение великого князя к войску с призывом защитить родину—изложен в обоих памятниках различно, причем в „Слове о житии“ он ближе ко второму поучению Серапиона Владимирского, чем к Летописной повести (ср. „не взяти ли быша гради наши... не ведены ли быша жены и чада наша в плънь“—Е. В. Петухов. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888, стр. 5, приложение).

Слово о житии

... да не приати будутъ гради погаными наши, ни запустеють святыя церкви и не разсеяни будутъ по лицу земли, ни поведени будутъ в полон жены и чада наша, да не томими будем погаными по вся дни...

Формула возвращения с победой—в обоих текстах обычная для воинской повести.

было; крестьянство потеряем и церкви божиа попалим и кровь их прольем и законы их погубим.

Летописная повесть

Мамай посла Бегича ратью... вниде в землю Рязаньскую... и пособи бог князю Дмитрию, а татарове побегоша... и князь Дмитрий оттуду възвратися в Москву с победою великою... и поможе бог князю великому... и посрамлени быша погании Половци побегоша...

Летописная повесть

Дмитрий же князь се слыша... иде к соборней церкви Матери божии богородици и прольа слезы и рече:... помилуй ны, пресвятая ти Матере молитвами... о многоименитая дево госпоже, царице небесным чином... не презри крестьян сих и избави нас от сыроядецъ сих и помилуй мя... да постыдятся и посрамяются... да не ркуть невернии, где есть бог их...

Летописная повесть

пойдемъ противу сего оканнаго и безбожнаго, нечестиваго и темнаго сыроядца Мамаа за правую веру крестьянскую, за святыа церкви и за вся младенца и старьци и за вся крестьяны...

И възвратися князь Дмитрии Христолюбивый князь... възвратися... с победою великою...

Сложнее обстоит дело с отношением „Слова о житии“ к Летописной повести в описании Куликовской битвы. А. А. Шахматов предлагал восстановить первоначальное чтение этого эпизода по разным типам Летописной повести, включив в обычное чтение Новг. IV-й летописи следующие выражения: „по юдолием кров течаше“ (из Хронографа), „и възсприим Аврамлю доблесть“ (из свода 1448 г.), „Дон река потече кровью... главы аки камене валяхуся“ (из списка Дубровского). Но даже при этих дополнениях картина битвы, читающаяся в „Слове о житии“, не может быть целиком объяснена из Летописной повести. Отдельные выражения этой картины заставляют вспомнить паримийное чтение о Борисе и Глебе.

Слово о житии

И съступишася полци, аки тучи силнии, и блеснушася оружия, аки мълния в день дождя, ратни же сецахуся, за руки емлющеся, по удолям кровь течаше, и Дон река кровью истече, кровью смесившеся, и главы татарьскы аки камене валяшеся, и трупья поганых аки дубрава посечена; мнози же довернии видяху аг елы божиа помогающа крестьяном. И поможе бог князю Дмитрию и сродници его святая мученика Борис и Глеб, и оканнии Мамаи от лица его побеже; треклятыи же Святополк в пропасть побеже, и нечестивый Мамаи без вести погибе.

Паримийное чтение

и съступишася обои и бысть сеча зла, яка же не была в Руси. И за руки ся емлюще, сецаху и по удолием кровь тьчаше. И съступишася тришьди и омеркоша биюшеся. И бысть гром велик и тутын и дожь велик и мълния блистание. Егда же облистаху мълния, и блистахуся оружия в руках их. И мнози вернии видяху англы помогающа Ярославу. (Бегство Святополка и гибель его).

В Летописной повести картина боя изложена гораздо пространнее, но в ней отсутствуют детали, совпадающие в паримийном чтении и в „Слове о житии“: „за руки емлющеся“, „сечахуся“, „блеснушася оружия“, „мнози“, упоминание молнии и дождя хотя и в виде сравнения (в паримийном чтении описывалась действительная непогода), ссылака на бегство Святополка, которому уподоблено бегство и гибель Мамаи. Из Летописной повести автор „Слова о житии“ добавил за то такие детали, как „Дон река кровью истече“, „главы аки камене валяхуся“, и даже развил эти детали. Вот как читаются в Летописной повести совпадающие со „Словом о житии“ части описания битвы: „И абие съступишася обои силы велицей... по юдолием кровь течаше... Дон река кровью потече, главы аки камене валяхуся... видиша бо вернии, яко... ангели помагают крестьяном... и великих князей тезоименитых Бориса и Глеба...“ Все остальное в этой картине, взятое из паримийного чтения („бысть сеча зла и велика, яка же от начала миру сеча не была такова... Руси“) или сочиненное самим автором (множество трупов, небесная помощь „тресолнечного полка“), не отразилось в „Слове о житии“.

Таким образом, очевидно, что автор „Слова о житии“ взял описание битвы из паримийного чтения и лишь одной деталью („Дон река ... главь аки камене...“) воспользовался из Летописной повести.

Есть основание думать, что и с повестью об Александре Невском автор „Слова о житии“ был знаком не только через Летописную повесть.

В стиле жития—повести „о мужестве“ Александра Невского рассказано в „Слове о житии“ о том, как прославился великий князь Дмитрий Иванович за пределами своего государства.

Слово о житии

Повесть об Александре
Невском

И умножися слава имени его... страхом господства своего огради всю землю, от восток и до запад хвало имя его; от моря и до моря, от рек до конца вселенныя превознесся честь его и многы страны ужасошася...

угобзи бо ему бог днии и чти во славу ему, его же имя слышано бысть во всех странах от моря варяскаго до моря понтеискаго ... распространи бо ся имя его пред тмы тмами... грозно на ратех... и славна бысть земля его страхом грозы его и храборства его...

Есть совпадения с повестью об Александре Невском и в отдельных выражениях. Дмитрий приглашает „князей и велмож своих“: „лепо есть нам, братие, положити главы своя за правоверную веру крестьянскую—„мужие“ Александра обещают ему перед боем: „ныне приспе время нам положити главы своя за тя“; князь Дмитрий возвратился с победой „яко же преже Моисии Амалика победив“—Александр молится: „помози ми, боже, яко же древле Моисеови на Амалика“.

К иным источникам ведет нас обширный плач княгини Евдокии по умершем великому князе.

Плач княгини Евдокии вносит по преимуществу интимно лирическую ноту в похвалу национальному герою, государственному деятелю. В этом плаче господствующая тема—личное горе молодой вдовы с детьми. Эта тема роднит книжный плач с народными вдовьими причетями. Войдя с XV в., как постоянный элемент, в княжеские жития и в некоторые светские биографии, плачи вдов дополнили их выражением личных настроений.

Плач Евдокии обычно расценивается исследователями как приспособление книжником вдовьих народных причитаний. Так, Г. Э. Кунцевич (История о Казанском царстве или Казанский летописец. СПб., 1905, стр. 379—380) прямо говорит: „Плач Евдокии—народный плач, причитание, конечно, несколько видоизмененное книжником“. С. К. Шамбинаго, указывая на отражения этого плача в третьей редакции Сказания о Мамаевом побоище, еще в 1909 г. утверждал: „плач Евдокии составлен, несомненно, на основании народных причитаний“ (Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 280). Однако, здесь еще не вполне ясно, относит ли автор свое замечание к переделке плача в Сказании, или к самому оригиналу из „Слова о житии“. В своей новейшей статье, дающей обзор повестей о Мамаевом побоище (История русской литературы, изд. ИЛИ АН СССР, т. II, ч. I, М.—Л., 1946, стр. 210), С. К. Шамбинаго приводит ряд сопоставлений отдельных мотивов плача Евдокии с народными, по преимуществу вдовьими, причетями.

Действительно, с народными похоронными причитаниями плач Евдокии сближается не только общей темой, но и рядом общих приемов-мотивов. Однако при установлении непосредственной связи с причетями

следует помнить, что некоторые из этих мотивов обычны в причетях повсеместно, так как они представляют собой естественные выражения горестных настроений. В плачах самых разнообразных народов, никак между собою не связанных общением, повторяется просьба к умершему встать, сказать еще хоть слово, посмотреть на своих близких; высказывается желание лучше самому умереть, чем хоронить близких, лучше не родиться, чем переживать такое горе; повторяются вопросы — зачем покинул нас, чем был недоволен; обращаются с просьбой молиться за покинутую семью, и т. д. Общее свойство похоронных причетей у разных народов — гиперболизм в изображении горя: эта черта, между прочим, роднит и книжные и народные плачи.

Но несомненно, что к отдельным мотивам плача Евдокии можно найти и стилистически близкие параллели то в народных причитаниях, то в житийных и вообще церковных плачах, то в христианской лирике. Автор, как это видно и из других частей „Слова о житии и о преставлении“, был человеком хорошо начитанным, любителем изысканной риторички, которой он отдал дань и в плаче. Но тема повлекла здесь в его стиль и элементы устно-поэтической традиции.

Приведу несколько случаев совпадения мотивов плача „Слова“ с народными причитаниями. Евдокия сетует, на кого оставил ее муж с детьми: „мене едину вдовою оставив... кому приказываеши мене и дети свои“ — сравним: „Сирота бедна вдова да оставляется со безчастною со станицей детиною“; или дочь оплакивает отца: „Оставляешь ты нас, бедных, покидаешь нас безчастных“ (Е. Барсов. Причитания Северного края, т. I, М., 1872, стр. 11, 45). Обращаясь как к живому, Евдокия причитает по муже: „Солнце мое, рано заходиши... звездо восточная, почто к западу грядеши“ — ср. „Укатилося красное солнышко... за часты звезды да подвосточныя“, „красно солнышко ко западу двигается“ (Барсов, ук. соч., стр. 1).

Евдокия горюет: „Не моего наряда одежда на себе въздеваеши и за царский венечь худым сим платом главу покрываеши, за полату красную гроб сий приимаеши“ — ср. „Уж ты куды да снаряжаешься... у тя платица нездешняя“; вдова видит сон, что муж ушел в „хоромное строеньице“, а на кладбище находит „катучи сини камешки“ и могилу (Е. Барсов, стр. 27—28). — Евдокия сетует, что она с детьми осталась без отцовской ласки: „почто не промолвиши ко мне... чему, господине мой милый, не возриши на мя, чему не промолвиши ко мне? Что ради не зриаеши на мене и на дети мои, чему им ответа не даси“ — ср. „не будет им теперь ласкового словечушка без своего родного батюшки“, „вам ведь в ком искать великого желаньица и ласковых предестных словечушек“ (Е. Барсов, стр. 11). Как вдова народных причетей, Евдокия вспоминает радость жизни с мужем и обращается за сочувствием к окружающим: „Старыя вдовы, потешайте мене, а младыя вдовы, поплачите со мною“ — ср. в причетях обращение к „вдове благочесливой, спорядной соседушке“, к молодой вдове.

Евдокия жалеет, что не умерла раньше мужа. Эту формулу можно найти и в не биографий канонизованных князей. Так, в повести об Изяславе Мстиславиче в редакции Никоновской летописи под 1153 г. бояре отговаривают Ярослава Владимировича Галичского от борьбы с Изяславом Киевским: „лучше бы ся нам не родити, или родившеся, в землю погрестися, неже такову беду и напасть видети“. Ср. дочь причитает на могиле матери: „я жива лягу в колоду белодубову, я вкопаюсь с ей, горюша, во сыру землю“ (Е. Барсов, ук. соч., стр. 67).

Евдокия обращается к покойнику: „Крепко еси, господине, мой драгий, уснул, не могу разбудити тебе. С которыя войны еси пришел?

Истомился еси велми— ср. в причети (Ю. В. Готье, Этнограф. обозрение, 1897, № 4, стр. 114, запись сделана в Весеьгонском у. б. Тверской губ):

И стану я будить тебя тихохонько,
Разговаривать с тобой легахонько,
Не поймешь ли мои речи горькие,
Да не проснешься ли, не пробудишься...

Однако не следует преувеличивать „фольклорность“ плача Евдокии. Обилие в нем несомненной книжной риторики заставляет быть осторожным и в выводах из приведенных параллелей. В интимную лирику вдовьего плача здесь вплетено немало риторических восклицаний, эпитетов, сравнений, метафор явно книжного происхождения: „цвете прекрасный“, „виноград многоплодный“, „сокровище живота моего“, „свете мой светлый“, „многоценныя багряница“, „гора великая“; прием вопрошаний „како ся нареку“, восходящий к канону-акафисту. Книжные параллели ко многим из приведенных оборотов находятся в церковной литературе без труда: житийный образ преждевременного увядания цветка символизирует смерть: „цвете прекрасный, что рано увядаеши“— ср. в плаче матери мученика Уара — „любезный цвете, прежде времени сице умилине увядый“ (19 окт.); евангельский образ Христа, не имеющего пристанища — „лиси язвины имут, и птицы небесныя гнезда, сын же человеческий не имать где главы подклонити“ (Матфея VIII, 20), — напоминает укор Евдокии: „звери земния на ложи свой идуть, а птицы небесныя ко гнездом своим летять, ты же, господине, от своего дому не красно отходиши“; как в житиях плачущие над мучеником просят его вымолить им скорое воссоединение с ним после смерти, — Евдокия умоляет: „Аще бог услышит молитву твою, помолися о мне, княгини твоей: вкупе жих с тобою, вкупе ныне и умру с тобою“; наконец, в чисто книжном стиле выполнено гиперболическое описание горя плачущей Евдокии (это описание у подражателей до XVII в. служило образцом описания горя царских вдов).

К некоторым мотивам плача Евдокии, даже и знакомым народной причети, можно привести довольно близкие параллели и из плача богородицы Симеона Логофета, где так много выражений материнского горя. Приведу примеры сопоставлений двух плачей.

Плач Евдокии

мене едину вдовою оставив
живот мой драгый
како зайде свет от очию моею
где отходиши
скровище живота моего
утроба моя¹
не подаси... сладости души моей
чему не промолвиши ко мне
солнце мое
свет мой светлый
вкупе ныне и умру с тобою

Плач богородицы

мене едину оставляеши
живот мой благый
зайде от очию ми, свете очию моею
камо идеши
надежда живота
утробу мою
свет мой сладкий, сладкое чадо мое, не услышу сладкаго ти гласа
но дай же ми слово, не глаголеши ли рабе своей слово божие
солнце незаходяи
свет мой сладкий
ныне приими мя с собою, да сниду и аз во ад с тобою, не остави

¹ В плаче по сыне этот эпитет мотивирован; в плаче по муже он явно заимствован

мене еще жити, ни гроба твоего, чадо, встану... дондеже вниду и аз во ад и не могу терпети разлучения, зде же умру аз и спогребуся ему

младыя вдовы поплачите со мною рыдайте со мною и плачите горко.

Противопоставление в плаче Евдокии былого могущества Дмитрия Донского беспомощности его после смерти, параллельно проходящей через весь плач Симеона Логофета антитезе: всемогущество божие и „безгласны, бездушны“ Христос на кресте. Следует отметить, что именно в этом противопоставлении плач Евдокии выходит за пределы выражения интимных переживаний вдовы-княгини и отражает историческую оценку Дмитрия Донского-победителя: „Господин всей земли Руской был еси, ныне мертв лежиши, никим же владеши; многы страны примирил еси и многы победы показал еси, ныне же смертью побежен еси“.

Таким образом, близость некоторых мотивов плача Евдокии к народным причетам не исключает того несомненного факта, что в литературном выражении этой вдовей причети значительную роль сыграли и книжные припоминания автора: житийно-гимнографические стилиевые традиции преобладают в художественной форме плача Евдокии, когда она отходит от фольклорной поэтики.

Если в характеристике мужества Дмитрия Донского автор „Слова о житии“ отразил воздействие стиля исторических панегириков — прежде всего повести „о мужестве“ Александра Невского, то в тех разделах первой части своего „слова“, где он восхвалял христианские добродетели великого князя, он шел вслед за традиционной житийной схемой. Эта схема предусматривала определенный тип биографий святого и в некоторых случаях заменяла реальную биографию, в других — дополняла неизвестные факты этой биографии: сведения о детстве, ранних подвигах благочестия, целомудрие в браке, чудеса при кончине и т. д. Именно по этому типу строится канва биографии Дмитрия Донского, когда автор не заполняет ее историческими фактами.

Дмитрий „родися от благоверну родителю и пречестну... възпитан же бысть в благочестии и в славе, с всяцем наказанием духовным и от самех пелен бога възлюбил... еще млад сы възрастом, но духовных прилежах делес [или ниже: „от уны бо врсты бога възлюбил и духовных прилежах делех“]. Пустошных бесед не творяше и срамных глагол не любляше, а злонаравн человек отвращашеся, а с благыми всегда беседоваше, а божественных писаний всегда с умилением послушаше [ниже: „аще и книгам не учен беахше добре, но духовныя книги в сердци своем имяше“]. А о церквах божиих вельми печашеся... злобою младенец обреташеся, а умом всегда съвершен бываше... По браце целомудренно живяста... с умилением смотряху своего спасения в чистей совести... плотнигодиа не творяху [ниже: „и по браце съвокупления тожде тело чисто съблюде, греху же непричастно... аггельскы живяше: постом и молитвою по вся ноци стояше, сна токмо мало приимахше и паки по мале часе на молитву вьсташе и подобу благу все творяше, в бернем телеси безплотных житие држьаше...“]. ...Егда преставися... просветися лице его яко аггелу“...

Из похвальных слов в честь святых взято и большинство метафорических и метонимических эпитетов Дмитрия, например: „око слепым, нога хромым, высокопарный орел, огонь, паляя нечистыя, баня мыюща скверня, гумно чистоте“ и т. п.

В исторической части „Слова о житии“ довольно заметно ощущается библейский стиль. Через Летописную повесть вошло сопоставление мужества Дмитрия с „доблестью“ Авраама: „и въсприим Аврамлю доблесть“; из повести об Александре Невском — образ: Дмитрий возвратился с победою, „яко же прежде Моисии Амалика победив“. Но есть библейские сопоставления и независимые от данных литературных источников автора. Так, Мамай похвалился завоевать Русскую землю и уничтожить в ней христианскую веру и потому погиб, „аки прежде и Ог царь Васаньский, похвалился на кивот завета господня, сице похвалився, сам погибе“. По своему отношению к ближним Дмитрий был „яко Давыд боготець“, который „Сауловы дети миловаше“, или „по велику Йову“. Целомудренная жизнь великого князя была выполнением завета „божественнаго апостола Павла“, который говорил: „вы есте церкви бога живаго, яко же рече: вселюся в ня и похожу“. Из библейских цитат автор „Слова о житии“ создавал иногда оригинальные образы. Так, характеризуя Дмитрия — „злобою младенець обреташеся, а умом всегда съвершен бываше“, — он использует наставление послания I апостола Павла к коринфянам: „злобою младенествуйте, а умом свершени бывайте“ (XIV, 20); в предсмертном завещании детям Дмитрий просит их: „а обяжите себе заповеди моя на шию свою и въскладите словеса моя в сердце ваше“ — этот образ навеян наставлениями отца сыну в притчах Соломона: „Милость и истина да не оставляют тебя; обяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего“, „не отвергай наставления матери твоей: навяжи их навсегда на сердце твое, обяжи ими шею твою“ (III, 3 и IV, 20—21, ср. VII, 3).

К библейскому языку ведут и сравнения типа: Дмитрий „в всем мире славен бысть, яко и кедр в Ливане умножившеся и аки финикс в древе се процвете“, „пророк на стражи божиа смотрения“, „въскипе земля Руская в дне княжения его, яко прежде обетованная Израилю“.

Обзор литературных источников „Слова о житии“ в его первой части показывает, что автор шире использовал не историческое повествование, а религиозно-дидактическую литературу. Центральный эпизод — борьба с Мамаем — изложен бледно, без той фактичности, которой можно было бы ожидать от современника событий. Впрочем, и цель, которую поставил перед собой автор, заставляла его сосредоточивать все внимание на главном действующем лице; поэтому подробности битвы, роль в ней других участников остались вне поля зрения автора. Основная задача — прославление великого князя — выполнена средствами не исторического, а церковно-панегирического стиля. Этим стилем автор владел свободно, притом в той форме, какую панегирики получили в конце XIV — начале XV вв. Юго-славянская панегирическая литература, украшенные биографии правителей независимых славянских государств и „похвалы“, сплетенные русскими панегиристами XV в., были теми образцами, которым следовал в данном случае автор.

Вглядываясь в приемы автора в первой части „Слова о житии“, не можем не заметить сходства их с манерой Епифания Премудрого.¹ Жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского и похвальное слово Сергию родственны некоторыми сторонами своего изложения „Слова о житии“ Дмитрия Донского. Сходство обнаруживается, прежде всего, в одинаковом пристрастии обоих авторов к библейскому языку, причем они прибегают иногда к одним и тем же образам, повторяют одни

¹ Цитаты из сочинений Епифания Премудрого приведены ниже по следующим изданиям: Житие св. Стефана епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. Изд. Археогр. ком., СПб., 1897; Древние жития преп. Сергия Радонежского. Собраны и изданы акад. Н. Тихонравовым. М., 1892.

и те же цитаты. Так, совпадающими оказываются следующие библейские образы.

Слово о житии

злобою младенець обреташеся,
а умом всегда съвершен бываше

Дмитрий „яко и кедр в Ливане
умножившеся и аки финикс в дре-
весе процвете“.

Дмитрий победил Мамаю „яко
же преже Моисей Амалика победив“

Эпитеты великого князя в „Слове о житии“ и эпитеты героев сочи-
нений Епифания Премудрого также обнаруживают нередко сходство.

Слово о житии

Дмитрий „корабль богатству“

стена нерушима
венець победе
бременен кормьник... аки корм-
чия крепок противу востром волны
минуя

земныи ангел, небесныи человек

труба спящим

Есть сходство в эпитетах и со словом похвальным Сергию неиз-
вестного автора, написанным в том же торжественном стиле, что и слово
Епифания.

высокопарныи орел

Дмитрий и Евдокия после брака
жили „яко златопрьсистии голубь
и сладкоглаголивая ластовица“

(схема прощальной речи Дмитрия
к детям и боярам) „се-бо аз отхожду
к господу богу моему... сберитесь
ко мне... старци яко отци, младии
аки чада...¹ бог же мира да будет
с вами“.

Дмитрий „утврѣжа веру аки ону
духовную лествицу“.

¹ Сравним в Поучении Владимира Мономаха: „старыя чти яко отца, а молодыя
яко братью“ (издатель В. М. Ивакин сопоставляет эти слова с I посланием ап. Павла
к Тимофею: „старцу не твори пакости, но утешай, яко же отца, юноши яко же братью“
V, 1—Князь Владимир Мономах и его поучение. М., 1901, стр. 123).

Сочиненія Епифанія
Премудрого

злобою младеньствуйте, а умом
свершени бывайте (жит. Стефана
Перм., из I Послания ап. Павла
к коринфянам XIV, 20).

Сергий „яко финикс процвете...
яко кедр иже в Ливане“ (похв.
слово)

Стефан победил язычников „яко
же древле великий Моисей види-
маго Амалика низложив победи“
(житие Ст. П.)

Епифаній Премудрый

Сергий „корабль исполнь богат-
ства духовнаго“ (слово похв.)

стена неподвижима (там же)
венець пресветлый (там же)
истинный кормник (там же), доб-
рыи кормник (ж. Ст. П.), плавает
к. рабль душевный по морю житий-
скому... а кормнику не сущу (сл.
п. Сергию)

яко земныи ангел, яко небесныи
человек (сл. п. Сергию)

труба человеки обновляюща (ж.
Сергия)

небопарныи орел (слово похваль-
ное)

Сергий „злат персидьскыи голубь
и пречюдная ластовица“ (там же).

(речи Стефана к пермянам и пред-
смертное увещание) „се аз отхожду
от вас... наказуя... старцев их яко
отця, средовечныя же яко и братию,
уныя и младыя дети яко чада
присныя... и бог мира да будет
с вами“.

Сергий „аки лествица възводя-
щиа на высоту небесную“.

„Слово о житии и о преставлении“ Дмитрия Донского своим необычным заглавием напоминает столь же необычное для жития заглавие биографии Стефана Пермского: „Слово о житии и учении...“ Совпадают в языке Епифания Премудрого и автора „Слова о житии“ Дмитрия Донского и отдельные традиционные выражения: Дмитрий „от самех пелен бога възлюбил“ и Сергей „от смышх пелен богу освятися“ (житие); „честь“ Дмитрия „превознесеса“ „от моря и до моря“ — „добродетельному житию“ Сергея „почюдидшася“ „от моря даже и до моря“ (там же); „тело же его честное на земли остана“ — „тело земное оставль“ (ж. Ст. П.)

Особенно обращает на себя внимание то, что житие Дмитрия, как и житие Стефана Пермского, заканчивается плачем: в первом — вдовья книгини Евдокии, во втором — церкви пермской, овдовевшей со смертью Стефана.

Плач как особая форма выражения лирических настроений, и вместе с тем похвалы умершему, уж с XI в. был принадлежностью княжеских житий. Здесь такие плачи иногда развивали краткие летописные заметки о плаче народа и родственников над умершими князьями, иногда же самостоятельно дополняли содержание, причем публицистическая идея жития входила и в некоторые плачи, чаще, однако, посвящавшиеся оценке заслуг умершего.

Если плач, более или менее развитой, был хорошо знаком и летописному стилю и княжеским житиям, то в житийной литературе он, наоборот, был редкостью. Характеризуя литературную манеру Епифания Премудрого, В. О. Ключевский особо подчеркнул своеобразие похвалы Стефану Пермскому, облеченной в форму трех плачей — пермских людей, пермской церкви и автора: „Такая оригинальная форма похвального слова безраздельно принадлежит одному Епифанию: ни в одном греческом переводном житии не мог он найти ее, и ни одно русское позднейшее, заимствуя отдельные места из похвалы Епифания, не отважилось воспроизвести ее литературную форму“ (Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, стр. 94).

Как форма похвального слова, плач, действительно, необычен в византийской житийной литературе. Но здесь также изредка в плачах, среди выражений горестных настроений, встречаются и элементы похвалы умершему — например, в плаче нищих над гробом Филарета Милостивого (1 декабря), монахинь над Афанасией (25 сент.) и т. д. Канон „о плачи пресвятой богородицы“ Симеона Логофета не только выражал горе матери, но и прославлял страдания Христа. Что же касается русской житийной литературы, то В. О. Ключевский был прав, подчеркивая новизну в ней плача-похвалы, взведенного Епифанием. И в житиях XVI в., действительно, плач-похвала уже не имеет такого развитого вида, как в житии Стефана Пермского (сравним житие Пафнутия Боровского, составленное Вассианом Саниным, минейную редакцию жития Михаила Клопского, плачи-молитвы в поздних редакциях житий Антония Римлянина или Феодосия архиепископа Новгородского, составленного Евфимием Туркиным).

Автор плача Евдокии и Епифаний Премудрый — оба знали народные причитания, в частности вдовьи, но в разной степени отразили это знакомство в созданных ими плачах. Светская тема и герой — в первом произведении и церковный сюжет плача пермской церкви, потерявшей своего епископа-просветителя, — во втором естественно требовали не одинаковых литературных приемов. Выше указаны совпадения отдельных мотивов плача Евдокии с народными похоронными причитаниями и отмечено, что в ряде случаев автор этого плача все же предпочел воспользоваться книжным, а не устно-поэтическим языком. Тем более

осторожным в применении фольклорной поэтики должен был быть Епифаний Премудрый, представивший в образе плачущей вдовы пермскую церковь. Однако, есть все основания думать, что и самый обычай бытового оплакивания покойников и содержание этих причетей он знал.

В плаче пермской церкви (житие Стефана Пермского) Епифаний рисует картину бытового причитания; церковь пермская взывает: „не деите мене, да ся насыщу плача, обычаи бо есть вдовам новоовдовевшим плакаться горко вдовьства своего... тяжело вдова плачется, прочитаючи, поминаючи, глаголючи... но повоздержите мя уже хотя мало, ослабите ми, да почию, да не некако съкрушуся от многоплачия, чюю бо ся без меры плачася женьскы или невестиньскы паче же вдовствуючи... обычай есть плачущимся причитати нечто некака словеса, да не правден воспущается глас плача...“ Таким образом, Епифаний знал не только вдовьи причитания, но и свадебные („невестиньскы“) и вообще бытовые („женьскы“); его выражения „без меры плачася“, „ослабите ми да почию“ — напоминают, как даже на свадьбах плачущую и ослабевшую от „вопля“ невесту отливали водой...

В самом тексте плача церкви пермской и плача пермских людей немало мотивов, обычных и для народных вдовьих причетей (вообще похоронных): „к кому же привергуся, да сотворит ми увещание, еже от печали утешение... камо зайде доброта твоя, камо отиде от нас... а нас сирых оставил еси... кому приказал еси стадо свое... не терпим бо бес тебе быти... кто же ли утешить печаль нашу... к кому ли прибегнем, к кому ли возрим, где ли услышим словеса твоя сладкаа“ (плач пермских людей); „увы мне, женише мой добрый, ... где водворяшися, где витаеши, где почиваеши? О како не сетую, яко лишена бых тебе... сетую чад своих, яко осиреша“ и т. д. В плаче церкви пермской — вдовы и в плаче вдовы княгини встречаются и сходные мотивы:

Плач Евдокии

камо зайде свет от очию моею...
почто не промолвиши ко мне...
цвете прекрасныи, что рано увядаеши...

кому ли мене приказываеши...

изменися слава твоя и зрак лица
твоего превратися в ислтение...
не много, господине, радовахся
с тобою...

Плач церкви пермской

свете очию моею, камо зайде...
не слышу бо гласа его...
како внезапно отпаде цвет, по
истине усше, трава и цвет ея отпадет
(ап. Петра посл. I, гл. I, 24).

кому приказал еси стадо свое
(плач пермских людей)

како пременихся пременением
жалостным...

в мале повеселихся с ним, но не
до конца насытихся соуза любовнаго...

Таким образом, в первой — исторической части „Слова о житии“ Дмитрия Донского обнаруживаются литературные приемы, свойственные церковно-панегирической литературе начала XV в., в частности житиям и похвальным словам Епифания Премудрого. Не предрешая вопроса о том, чем объясняется это сходство, обратимся ко второй части „Слова о житии“ — к плачу-похвале автора.

3

Вторая часть „Слова о житии“ представляет собой похвалу Дмитрию Донскому, выполненную в торжественном тоне церковных похвальных слов святым, с гиперболизмом, свойственным панегирикам XIV—

XV вв. Обращенная к слушателям („Страшное чудо, братье...“), эта похвала начинается гиперболическим изображением всеобщего смятения, вызванного смертью Дмитрия Донского, и отчаяния автора, который считает себя все же обязанным описать горе природы и народа и вместе с тем восхвалить великого князя: „понуdivся слово писати житье сего“. Призывая в помощники бога, автор предупреждает, что он не будет прилагать к похвале „от оных древних Елиньских философ повести“, но сложит „по житию достоверныя его похвалы“, как будто „в зеркале имьи“ это житие, в соответствии с „разумом божественнаго писания“. Не „дружня любя понужает“ „прилагать похвалы“ „сему благочества дръжатель“, но „от жития светлости украшение, от прародитель святолепие“. Ссылаясь на „великого Дионисия“, автор приводит ряд аналогий к своему труду панегириста: шум воды делается ветром, солнце сушит земную влагу, ум владеет человеческими чувствами, согласуя (соединяя) чувства; ум в сердце человека сад „вкореняет“, а сердце с помощью языка передает миру „плод умный“... Не от всяких родителей могло родиться такое „пречюдное чадо“, как князь Дмитрий: это случилось лишь „смотрением всех съдетеля бога“. Что приложить к его славе: она неизмерима, как и море полно и без текущих в него рек. Иных людей хвалит в детстве, других „в средовечии“, третьих — в старости; а „сей“ (великий князь) „с похвалою добродетели вся лета живота своего сверши“; один он, родився „благочествен“, „многим прародителем славу прорасти“. Пышно восхваляется красноречие Дмитрия, который „философ уста смотрением заграждает“. Снова аналогия к настроению автора, слагающего похвалу: как „вода разделяется на двое от единого испиения и паки сходитя“, как все люди, смотря на небо, думают о том, кто живет там, — так „мысль предтекает ми глаголати о сем велидемъ царя“. Зависть есть печаль о том, что ближний имеет хорошее; ревность же подобна „благым теплотам любви“, потому что ближний имеет „благое изволение и славу“, о чем „мудрый“ сказал: душа любовника находится в теле любимого. Автор восхваляет примерную жизнь супругов — Дмитрия и Евдокии, у которых „едина душа бе, две теле носяще...“ Вспоминая добродетели Дмитрия, он характеризует его мудрость („сед разумом прже старости...“) и „рвение к богу“. Восхваляя Дмитрия, как царя, автор прибегает к бытовым аналогиям — врачом может быть тот, кто прежде изучит существо недуга, иконописцем — кто приготовит краски; он вспоминает недостойных царей Библии (Саула, Ровоама, Иеровоама) и противопоставляет им Дмитрия, который, приняв власть от бога, с богом ее и держал. Следуют хвалебные эпитеты: „другом стена и твердь, противным же мечь и огонь, посекая нечестивыя и пожыгая, яко хворость, удобь сгорающу, вещь, на зло събравшуюся“. Цитатами из пророков Иеремии, Давида и ап. Павла автор определяет свой труд: „и аз убо худоумныи на похваление предобраго господина ми словес изнести въскотех...“ Следует рассуждение о „памяти божий“, которая „на двое разделяется: аще разумно, на похвалу, съ ли съгрешается от правосудства — на хулу“. Бога нельзя „объять“ ни „страстию“, ни „похвалою“; все же человеческое („человеческия вещи“) можно и хвалить и хулить: поэтому, хорошо „разумев“, следует хвалить, не понимая — лучше молчать. Много философов было в миру, но „две главе“ было среди них — Платон и Пифагор; об одном „благословесно“ они рассказали, о другом — благоразумно умолчали. Автобиографический эпизод повествует о том, как „твое преподабство“ поручило „нашему худовству“ составить слово, и потому автор просит это „преподабство“ помолиться, чтобы он справился с порученным ему делом. Рассуждение о „правой любви“, которой „тебе любим“, т. е.,

очевидно, прославляемого великого князя, переходит в слабо связанные с предыдущим текстом мысли: „Бог двоинства не имеет, душам троинства, ни едина тела сам приобщается, не текуща четворства чювствия вне пятства устремления сугубаго не постражает, шестство имеет честьство лучшю семство. Быша 3 дщери у пивавици света сего: тщеславие, сребролюбие неправога богатства, пьянства несытное, исполнь блуда“. Отсюда следует похвала добродетелям Дмитрия, его супружеской жизни, которая заключается выводом: „въ всю землю изыде слава его и в конца вселеныя величество его“. На этом оканчивается запутанная средняя часть похвалы. Остальное построено по обычной гимнографической формуле: „Кому приподоблю великого сего князя..“, которая переходит в сравнение с знаменитыми просветителями: „Хвалит убо земля Римская..“ Похвала заканчивается молитвой к великому князю, как к святому, „о роде своем и за вся люди“, потому что он уже находится там, „идеже духовных отець паствины и вечное насыщение“; автор перечисляет всех праведников, находящихся с Дмитрием в этих „паствинах“.

Источники этой похвалы разнообразны, но среди них есть и те, которые использованы уже в первой части „Слова о житии“. Так, в похвале есть несомненный отголосок Летописной повести, правда — не ее исторических эпизодов. Гиперболическое описание горя автора в начале похвалы представляет сокращение плача побежденного Мамаю в Летописной повести, где этот эпизод не самостоятелен: это одно из заимствований, сделанных автором Летописной повести из довольно неограниченного источника — из апокрифического „Слова на Рождество Христово о пришествии волхвов“ (см. И. Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890, стр. 157—163).¹

¹ Привожу сопоставление Летописной повести с этим ее литературным источником.

Летописная повесть

плач горек и глас и рыдание и слышано бысть, сиречь высоких. Рахиль же есть дыхание крепко, плачущиися чад своих и великим рыданиемъ, въздыханиемъ, не хотя утешитися, зане пошли с великим князем за всю землю Русскую на остраа копыа. Да кто уже не плачется жен оных рыдания и горькаго их плача. Зряще убо их, каждо к собе глаголаше: увы мне, убогаа наша чада: уне бы нам было, аще бы ся есте не родили, да сиа злострастная и горькия печали вашюго убиства, не подняли быхом; почто быхом повинне пауге вашей!

Мамай же слышав приход князь к Дону и сеченыя свои видев, и възъярився зраком и смутися умом и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще...

[Дмитрий] рече: что есть великое сверпство Мамаево? аки некаа ехидна прискающе, пришедше от некия пустыни, пожрети ны хочеть...

И рече к себе Мамай: „власи наши растерзуются, очи наши не могут огненных слез истачати, языци наши связуются, и гортань ми присыхает, и сердце раставаетъ, чресла ми растерзуются, колени ми изнемогают, а руже очипени-

Слово на Рождество

бысть плач горек в Вифлеоме... Глас в Раме слышан бысть, сиречь в высоких. Рахиль плачущиися чад своих и не хотяше утешитися... зане не бе их. Да кто убо не плачется жен оных рыдания, горькаго их плача зрящи... кояждо бо их в себе глаголаху: увы мнѣ, увы мне, избитаа наша чадуа! Уне бы нам было, аще бы ся есте не родили, да сзя злострастная горькыя печали вашего убиства не подъяли быхом. Почто быхом повинни, вашей пауге?

Ирод же слышав глаголюща от волхвов уярився зраком и смутися умом...

распалися лютою яростию и наполнися яко аспида некаа гневом дышущи [из плача матерей] или некия звери бы быша нам яро дышуще, яко некия ехидна пыскающий, ишедшии от некия пустыня и пожрели ны быша...

Каждо би их к себе глаголаше: О горе ми, горе ми, власи ми растерзуются, очи ми не могоста оненных слез истачати, языки ми связаются, гортань ми присыхает, сердце ми раставается, чресла ми потрясаются, колени ми изнемогають,

Может быть повесть об Александре Невском вспоминалась автору похвалы, когда он изображал впечатление от смерти Дмитрия Донского:

Слово о житии

народ оплакивает Дмитрия:
*„князь князьмь успе...
 солнце помрачится...
 земля трясащеса... день
 погибели...“*

Повесть об Александре Невском

Андреаш отзывается об Александре: „не видех такового... ни в князех князя“; митрополит Кирилл над гробом Александра взывает: „уже *зайде солнце земли суздальстей*“; при погребении „бысть же вопль и кричание... яко *земли потрястися*“, а народ „*глаголаху: уже погыбаем*“.

Библейские цитаты, образы, сопоставления и в похвале заметно выделяются в стиле автора. Книги Иисуса сына Сирахова, Псалтырь, пророческие книги дали ряд цитат, а уподобления в заключительной части похвалы („кому приподоблю“) вспоминают героев ветхозаветных исторических книг: Сиф, Енох, Ной, Евер, Авраам, Исаак, Израиль, Моисей противопоставлены превзошедшему их своей деятельностью Дмитрию Донскому. Характеристика Дмитрия — „Кто ли убо так сед разумом преже старости“ навеена, как и некоторые образы исторической части „Слова о житии“, книгой Премудрости Соломона (IV, 9): „Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь — возраст старости“.

Сходство с приемами панегирического стиля Епифания Премудрого наблюдается и в похвале „Слова о житии“. Есть одинаковые цитаты из Библии в тождественном тексте: (Слово о житии) „Давыдови же: обидоша мя яко пчелы сот, и разгореса яко огонь в тернии“ (псалом 117, стр. 11) — сравним (житие Стефана Пермского) „прозря Давидово слово, глаголющее: все языци обшедше, обидоша мя яко пчелы сот и разгорешася яко огонь в тернии“. Сходны формулы авторского самоумаления:

не възмогах... по достоинию похвалы приложити

несмь бо доволен ꙗко достоинию хвалы тебе принести... немогыи по достоинию написати... (слово похвальное Сергию); недоумею по достоинию написати... (житие Стефана Пермского).

В житии Стефана Пермского использована широко для похвалы та же формула уподобления, что и в „Слове о житии“; но Епифаний Премудрый уподобляет своего героя не отдельным конкретным лицам, а представителям целых групп: „что ты нареку? пророка ли... апостола... законодавца... крестителя... проповедника“ и т. п., а „Слово о житии“, как выше указано, противопоставляет Дмитрия Донского библейским ветхозаветным героям.

взвоятъ. Что вам реци или глаголати, видяще пагубную смерть. Инии бо мечемь пресекаеми бывааху, инии же на копьяхъ звимаеми. Да тем же рыданияемъ исполнишася москвичи...

руце ми оцеленеста. Что бо имаемъ реци или что глаголати от горькия болезни, не вемы, видевши вашу влострасную смерть. Инии бо от них мечемь пресекаеми бывають, инии сулицами дрочижаеми бывають, а инии на копияхъ взвизаеми... да тем рыдания исполнишася...

В „Слове о житии“ и в житии Стефана Пермского использована формула, ставящая героя в ряд известных распространителей христианства.

Слово о житии

Похвалает убо земля Римская Петра и Павла, Асииская Иоана Богослова, Индейская Фому апостола, Ерусалимская Якова брата господня, Андрея Прьвозванного все Поморье, царя Костяньтина Гречьская земля, Володимера Киевская с окрестными грады, тебе же, великий Дмитрий, вся Руская земля.

Житие Стефана Пермского

Хвалит бо Римская земля обою апостолу Петра и Павла, чтит же и блажит Асийская земля Иоанна Богослова, Египетская Марка еуангелиста, Антиохийская Луку еуангелиста, Греческая Андрея апостола, Руская земля великого князя Володимера, крестившаго ю, Москва же блажит и чтит Петра митрополита, яко новаго чудотворца, Ростовская же земля Леонтия епископа своего. Тебе же, о епископе Стефане, Пермская земля хвалит и чтить...

Эта формула, ведущая свое начало от „слова о законе и благодати“ митрополита Илариона, применялась до XIV в. в русской литературе к просветителям — распространителям христианства: Владимиру, Леонтию Ростовскому, позднее к Нифонту новгородскому. Поэтому в ней перечислись апостолы и Константин греческий, равноапостольный. Но и в „Слове о житии“ и в житии Стефана Пермского первоначальный смысл формулы уже несколько изменен. Епифаний Премудрый в ряд с просветителями поставил „нового чудотворца“ митрополита московского Петра, включив его, как особо чтимого Москвой, так же как другие города и земли чтят своих просветителей. Но само приурочение к Стефану Пермскому этой формулы вполне закономерно — он также был просветителем Пермской земли. Иначе произошло перенесение этой формулы на светского героя — Дмитрия Донского. Тема распространения христианства и прославления просветителей в этой формуле в „Слове о житии“ расширяется: перечисленные деятели становятся вообще героями данной страны, и им уподобляется национальный герой иного типа лишь по признаку всеобщего в данной стране прославления. У Дмитрия Донского были иные заслуги перед Русским государством, но он, в сознании автора похвалы, такой же знаменитый в Русской земле герой, какими были для Рима — апостолы Петр и Павел, для Азии — Иоани Богослов и т. д., т. е. просветители¹

Таким образом, есть совпадение в источниках, использованных при составлении обеих частей „Слова о житии“: летописная повесть, повесть об Александре Невском, Библия и сочинения Епифания Премудрого отдельными приемами стиля одинаково близко подходят к исторической и к собственно панегирической частям „Слова о житии“. Однако разница в стиле этих частей ощущается весьма заметно, и не только потому, что во второй преобладает панегиризм. Вся средняя часть похвалы выделяется какой-то особой манерой речи: рассуждения, аналогии,

¹ Сравнение Дмитрия Донского с знаменитыми деятелями прошлого, но уже прославившимися заслугами разного рода, а не только просветительством, находим в речи митрополита Киприана, которой он встретил в Москве возвращавшегося с Куликовского поля победителя: „Како же тебе прославим... новый Константин, славный Владимире, дивный Ярослав, чудной Александре“. В этом ряду объединены просветители Константин и Владимир, и победители Ярослав, Александр Невский и Дмитрий Донской (Никонов. лет. под 1380 г.).

ссылки на „еллинских философов“, отвлеченность мысли и рядом глухие автобиографические заметки — вот что характерно для этой части „Слова о житии“.

Новые источники этого стиля, самих рассуждений начинаются со ссылки на „великого Дионисия“. Так именует обычно Максим Исповедник Дионисия Ареопагита в своих толкованиях на его „книги о небесном священноначалии“ (в переводе инока Исаии, сделанном в 1371 г. по поручению Феодосия митрополита Серского). Старшие русские списки этого сочинения именно в данном переводе сохранились уже от XV в. (см. А. Соболевский. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках — в книге „Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков“. СПб., 1903, стр. 20). Отвлеченность мысли, трудный, усложненный язык могут быть в этой части „Слова о житии“ отголоском чтения автора. Здесь и психологические эпизоды (ум — чувство, сердце — слово; мысли о вечном, о зависти, ревности, о „памяти божей“, о разных видах „похвалы“, о „правой любви“), и богословские размышления — „бог бо не объят есть страстию“ и т. д., „бог бо любы есть“, „бог двоитво не имеет“ (следует совсем мало понятное рассуждение, в котором характерные для Дионисия Ареопагита и его толкователя отвлеченные термины — „троитво, четворство, пятьство, шестьство, четьство, семство“ — стр. 364); аналогии из мира природы — „солнцю же доброта и величство хвалится, и течение и борзость и сила имети мощно велику, яко от конца и до конца осветаги равно, никако же охукати теплот удалением“ — так и Дмитрий „сему же доброта и нрав добр, велик же величества ради, дерз же добродетели деание, дондеже възде в покой, силен же обътекает, яко солнце луча испущая, и вся съгрея, елико наиде“. Или: „говор воде ветром бывает, и мокрота земли солнцем погибает, ум владитель чювствием человеческим“ и т. д. Слава Дмитрия не „мерима“, „яко ни море в него текущих рек“... „Аки вода разделяется на двое от единого испкипения и паки сходится“, так „мысль предтекает ми глаголати о сем велицем цари“; „рвение к богу“ Дмитрия „аки огонь дышает скважнею“...

В русской панегирической литературе с XV в. реплики от имени автора в тексте житий, похвальных слов — нередки. В первой части „Слова о житии“ автор только дважды — и то бледно — упомянул о себе: „Еще же дрзьну не срамно речи о житии сего нашего царя Дмитрия, да се слышаще цари и князи научитесь тако творити“ и „се едином повем от жития его“. Но в похвале, кроме заметок такого типа („Кое ли приложение славе его сделаю“, „мысль предтекает ми глаголати о сем велицем цари“, „се и аз не срамляюся глаголати“, „нудить мя язык яснее речи“, „да си глаголю, понудився слово писати житие сего“ и проч.) и формул авторского самоумаления, выраженных более или менее трафаретно („аз худоумный“, „уподобихся семени тому еуангельскому, еже впаде в тернии и подавится и не могло плода створити“, „аз же недостойный не възмогах твоему преславному господству по достоанию похвалы приложити за грубость неразумия“...), — есть эпизод, носящий как будто автобиографический характер. Среди богословско-психологических размышлений, автор пишет: „И аз убо худоумны на похваление предобраго господина ни словес изнести восхотех... Понеже преподобство твое испроси у нашего худовства слова, мы припадаем к святому духу, благодати просяще слово отврзенье уст наших, иже не вредить душа, но обаче веселить. Аще ли дать святыи дух глаголати, яко же хощем, то деиство не мое управление, но твоя молитва... Но житие мое строптиво есть, не дать ми беседовати с тобою, якоже хощется...“

Итак, некто — „преподобство твое“ — поручил автору „худовьству нашему“ написать слово в память Дмитрия Донского. Молитве этого „преподобства“ автор сочтет себя обязанным, если его труд увенчается успехом („даст святой дух глаголати“); что-то мешало автору „беседовати“ с этим, очевидно, старшим собеседником.

Что можно предположить об этом авторе на основании его литературных приемов? Два исследователя — С. К. Шамбинаго и А. А. Шахматов — считали, что это был не только современник Дмитрия Донского, но и лицо, присутствовавшее на его погребении, так как в похвале мы читаем: „Но токмо слышах мног народ глаголющъ: о горе нам, братъе, князь князьмъ успе...“ Это будто бы воспроизведение того народного плача, который автор слышал сам на похоронах. Если даже это и так, то в описании погребения нет ничего столь яркого, что бы не могло быть написано и много лет спустя после 1389 г. А литературные приемы автора говорят именно не о 1390-х годах, а уже о XV веке. Сходство целой группы приемов автора „Слова о житии“ с панегирическим стилем Епифания Премудрого позволяет поставить вопрос: не был ли этот автор знаком с обоими житиями, написанными Епифанием, и с похвальным словом Сергию, ему же принадлежащим? Иначе является мысль, не сам ли Епифаний сложил „Слово о житии“, повторив в нем некоторые из своих приемов, нашедшие себе место и в несомненно ему принадлежащих произведениях. Второму предположению противоречит прежде всего то, что Епифаний обычно надписывал своим именем все написанное им. И даже в позднейших переработках его житий, сделанных Пахомием Сербом, сохранилось имя его как основного автора. В „Слове о житии“ автор лишь глухо назвал себя внутри похвалы — „наше худовьство“. Если же неизвестный этот автор был знаком с писаниями Епифания Премудрого и даже в своем стиле отразил это знакомство, то „Слово о житии“ придется датировать уже не 1390-ми годами, а временем не раньше 1417—1418 г., когда было написано житие Сергия Радонежского. Если же учесть, что в „Слове о житии“ есть отголоски и слова похвального Сергию, притом не только несомненно принадлежащего Епифанию, но и так называемого „Слова неизвестного сочинителя“ (см. издание Н. С. Тихонравова. Древние жития преп. Сергия Радонежского, М., 1892, стр. 153—156), то придется отодвинуть „Слово о житии“ еще несколько дальше. С такой датировкой согласуется и тот факт, что автор „Слова о житии“ был знаком с переводом Дионисия Арёопагита, переданным на Русь, видимо, уже в XV в.

С другой стороны, не безразличной может быть для датировки „Слова о житии“ политическая тенденция прощальной речи Дмитрия Донского к сыновьям и боярам. Вспоминая свое правление, Дмитрий говорит, обращаясь к боярам: „с вами царствовах и землю Рускую дръжах... и мужествовах с вами на многы страны, ... отчину свою с вами съблюдох... к вам честь и любовь имех, под вами град дръжах и волости великиа и чада ваша любих и никому же не сътворих зла, ни силно что отъях, ни досадих, ни укорих, ни разграбих, ни бесчинствовах, но всех любих и в всех чести дръжах и веселихся с вами, с вами же и оскорбих; вы же не нарекошестя у мене бояре, но князи земли моеи“. Сыновьям великий князь завещает: „бояре своя любите, честь им достойную въздаваючи противу служения их, без воли их ничто же творите“. Характерно, что в позднейших редакциях вместо „без воли“ читается „без думы“ или „без совета“ (Никонов. лет. и Степ. кн.). Это подчеркивание уважительного отношения к боярам-князьям великого князя является, быть может, отголоском обострившейся борьбы объединительных тенденций московских великих князей с притязаниями старой феодальной

знати. Такая борьба усилилась в 1432 г. и закончилась в 1453 г., причем шла она с переменным успехом: то брал верх московский великий князь, то одолевали его противники, пока окончательно не были разбиты. В завещании Дмитрия Донского, как оно читается в „Слове о житии“, в уста самого великого князя вложена защита старых феодальных прав: „без воли“ бояр, которых сам Дмитрий Донской называет „князьями своей земли“, его наследники не должны „ничтоже творить“.¹ Оттого-то позднейшие редакторы сочли необходимым это резкое выражение идеи ограничения власти великого князя московского смягчить. Ведь по советовавши с боярами великий князь поступить мог и по своему, но слова „без воли“ обозначают какую-то степень зависимости верховной власти от боярского окружения. Авторитетом победителя Мамаю прикрывается здесь защита старого порядка. Такую тенденцию проводить, хоть и осторожно, в литературе можно было только до 1453 г., т. е. до окончательной победы великого князя московского. Не эта ли скрытая политическая тенденция и заставила автора тщательно скрыть свое имя?

„Слово о житии и о преставлении“ Дмитрия Донского не прошло незамеченным в позднейшей русской литературе. Наибольшую популярность в ней получила трогательная, местами безискусственно искренняя лирика плача княгини Евдокии.

Новые редакции старших княжеских житий используют этот плач, приспособляя его к содержанию иных сюжетов. Так, в XVI в. в житии Михаила Черниговского появляется вставной эпизод — плач княгини, в котором она изливает свою тревогу, узнав, что князь едет в Орду (см. переработку редакции Пахомия Серба, представленную Чудовским списком № 49—251, XVI в., лл. 422—429, изд.: Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития. М., 1915, стр. 83—84). В этом плаче княгини есть прямые отголоски не только происходивших в момент отъезда князя событий, но и угрожавших ему в Орде злоключений. В соответствии с реальной ситуацией, в новом плаче все, что в плаче Евдокии относилось к теме смерти, приурочено к отъезду князя в Орду: княгиня тужит о том, что ее ожидает, а не о том, что уже случилось, как в плаче Евдокии. Но стилистическая близость обоих плачей очевидна: „Увы мне, како отиде живот мой, остави мя уединену вдовою и дети своя сиры. Почто аз прежде тебе не умрох? Како отиде свет от очию моею? Где отходиши, господине, в велику пагубную землю грядеши? Что ради уведаети, винограде многоплодни, и не подаети плода сердцу моему и сладости души моей? *Напрасно хочещи впасти в руки поганьския и напрасно хочещи умрети.* Кому ли, господине, приказал еси мене и чада свои? *Что ли отечество съблюдет, великий град Чернигов? Кто ли попечалует нами? Кто ли в Угры отведед мя, егда паки нашествие будет безбожных агарян на отечество твое?* Солнце мое, рано заходиши, месяц мой красный, рано погибаети. Звезда восточная, почто к западу грядеши? Царю мои, како приму ты или послужу ти? Где, господине, честь и слава твоя? Государь отечеству своему был еси, *ныне напрасно хочещи умрети от безбожных агарян,* и слава твоя изменится, и зрак лица твоего в истление приложится. Живот мой, мало възвеселюся с тобою“, и т. д. Нельзя сткзать автору этого плача в уменье довольно искусно изменять готовый текст, когда этого требовала иная историческая обстановка

¹ Обративший внимание на эти слова И. Снегирев писал в предисловии к изданию „Слова о житии“: „Сочинитель его должен быть духовная особа, знакомая с греческим просвещением и писавшая под влиянием бояр, как видно из слов: без воли их [бояр] ничто же творите“ (Русск. Историч. сборник, т. III, М., 1838, стр. XXV).

В житии князя Михаила Тверского, также поздней редакции (рукопись Гос. Публ. Библиотеки им. В. И. Ленина, собрания Ундольского № 1209, XVII в., лл. 58—60), плач Евдокии превращен в плач княгини Анны по убитому муже; поэтоу понадобилось вставить в него описание убийства князя в Орде его политическими врагами. Это описание воспользовалось библейской фразеологией и связало плач с темой именно данного жития. Что же касается собственно лирической части плача, то она представляет собой несколько сокращенную передачу соответствующих эпизодов плача Евдокии. Автор как будто сам указывает на то, что ему известен и полный текст старого плача: „Сия и иная многая плача глаголаше“, замечает он о княгине Анне. Таким образом, лишним, сравнительно с оригиналом, является в житии Михаила Тверского следующий эпизод: „Отверзоша на тя уста своя неправедная окаянныи Кавгадый и вси врази твои. Иеремиев плач пререку: возвиздаша и поскрежеташа зубы своими и реша: поглотим, и восплескаша руками вси минующим путем, позвиздаша и покиваша главами своими. Подобне и о тебе ныне сбысться, великий княже! бысть яко медведь ловяй тя и преседаи, яко и лев в сокровенных, отгна отступающа и удержа тя и положи тя погибша, напряже лук свой и постави тя яко знамение на стрелани“.

В житии Ольги в редакции Степенной книги из плача Евдокии сложены два плача княгини по Игорю. В лирические жалобы вдовы, очень близкие стилистически к сетованиям Евдокии, и здесь вплетены воспоминания о событиях, связанных с княжением Игоря, его смертью: „не бы слышала твоя пагубы, иже не от супостатных враг, но от своеземных ти людей. И не вем, что сотворити или к кому горкую сию печаль прострети“ (ср. в „Сказании“ о Борисе и Глебе плач Бориса по отце: „я не вем, к кому обратитися и к кому сию горькую печаль прострети, к брату ли... нъ ть мню...“¹); „к сыну ли, но той вельми детеск еще, и не вем, от кого наказан будет, или кто снабдит державу ему“² (первый плач). Во втором плаче Ольги у „гроба Игорева“ та же переработка плача Евдокии, применительно к биографии Игоря: „самый Царский град дани и выходы дароваху ти и многи победы на супротивныя показал еси... Зде пришед, идеже от безумных Древлян кровь твоя царская пролияся, и тело твое погребению предастся... сира вдова со единым сыном оставаюся... не вем, како враги смирити и всякая вражда утолити... И что ныне успеем, косняща господодубийцам врагом, ненавидящим над ними царския власти. И того ради да примут мечь, и да престанет дерзость в Русец земли помышляющих злое на самодержавных, да и прочии не навькнут убивати государствующим ими в Руси, но со страхом да повинуются величию царствия Руския державы начальником“. Так лирическая скорь вдовы, выраженная вначале традиционными формулами XV в., переходит в злободневно для XVI в. звучавшую защиту царской власти от недовольных ею.

Подготавливая к сообщению о принятии Ольгой христианства, автор плача вводит размышления Ольги-язычницы о смысле мировой истории — она ищет нового понимания этого смысла: „И кто, когда каково утешение дарует ми, и ум мой на лучшее утвердит и желание мое исполнит? И кто обрящется, возвещая ми, аще будет некая иная жизнь или другой мир? Сей бо мир преходит, яко же вижу, и несть хитрости, еже убежати кому смерти. Егда же како и мене постигнет смерть, и кто будет память

¹ С. Бугославський. Пам'ятки XI—XVIII вв. про князів Бориса та Гліба. У Києві, 1929, стр. 140.

² ПСРЛ, т. XXI, первая половина, ч. I, СПб., 1908, стр. 8—9.

мою творя по смерти? Все бо естество человеческое в небытие расходуется и забытию предавается“.

Таким образом, автор этой редакции жития Ольги воспользовался формой плача для выражения не только эмоций горя, но и философских размышлений и полемических выпадов против врагов царской власти. Злободневная тенденциозность окрасила здесь рассказ о событиях далекого прошлого.

В сильно сокращенном виде, притом без каких-либо отголосков нового исторического сюжета, плач Евдокии воспроизведен в поздней редакции жития князя Федора Ярославского (см. рукопись Гос. Публ. Библиотеки им. В. И. Ленина, собрания Ундольского, № 1126, XVIII в., лл. 218—218 об.).

Формулы плача Евдокии так глубоко укоренились не только в житийной, но и в исторической биографии, когда ее приспособляли к церковному употреблению, что они повторяются даже в плаче рязанского князя Ингваря Ингоревича „о братии, побивенных от нечестивого царя Батые“,¹ и в сокращении этого плача — в плаче великого князя Юрия Всеволодовича, оплакивающего погибших в битве с Батыем князей и дружину.

В середине XVII в., повидимому, в связи с перенесением тела князя Юрия Всеволодовича „из предела в собор у столпа посреди церкви“ (во Владимире), была составлена церковная его биография. Это — компиляция из разнообразных книжных и устных источников (см. Н. Серебрянский, ук. соч., стр. 149—151), среди которых находим, между прочим, следы и плача Евдокии, вероятно, через плач Ингваря Ингоревича: „Днесь кому приказываете мене, солнце мое драгое, месяц мой прекрасный, почто рано зашли есте? Где, господие, честь и слава ваша? Многим землям государи были есте, а ныне лежите на земли пуге, и зрак лица вашего изменися. Не слышасте ли, господине, словес моих? О земле, земле! о дубравы! вси плачите со мною. Како нареку день той и воспишу, вонже толико погиге государей и великих храбрых удалцов и ни един же возвратися, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша“. Так вдовый плач соединяется с прямыми отзвуками повестей о разорении Рязани Батыем (плач Юрия, изд. Н. Серебрянский, ук. соч., стр. 163, по рукописи XVII в. Гос. Публ. Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, собрания Строева, № 1578/43, лл. 43 об. — 44 об.).

Акад. А. И. Соболевский в названной статье предлагал рязанский плач Ингваря считать источником плача Евдокии, в котором рязанский текст „приспособлен к московской обстановке“ (стр. 181). Вряд ли, однако, для рязанской литературы XIII в. может быть признано вероятным такое гиперболическое описание горя, которое в памятнике XV в. („Слово о житии“) отвечает новой стилистической манере: „Видя же то князь Ингварь Ингоревич и возопи горьким гласом, велми ревый, слезы от очю испущаючи, яко струю сильно, утробю распалаючи, в перси руками быючи и гласом же яко труба рати поведаючи, яко орган сладко вещаючи“ (стр. 178). К тому же заимствование выдают и такие неприспособленные к требуемому смыслом двойственному числу выражения, как „како успе, животе мой драгий... Како заиде свете очю моею... кому приказываете мя, солнце мое драгое, рано заходящее, месяц мой краский, скоро погигший [в плаче Евдокии „солнце“ и „месяц“ — два эпитета, с которыми вдова обращается к умершему мужу, здесь они неудачно разделены]... свете мой светлый, чему помрачилися есте“.

¹ По рукописи XVI в. „вероятно М. П. Погодина“, изд. во Временнике Моск. общества истории и древностей, 1852, кн. XV; переизд. А. И. Соболевским в статье „К Слово о полку Игореве“ — Изв. по РЯС АН, 1929, т. II, кн. I, стр. 177—181.

И дальнейшее в похвале князьям — органично для литературы XV в., но невозможно в рязанской повести XIII в.: „святаго корени отрасли и богом насажденного сада цвети прекрасная“, и вся оцерковленная характеристика-похвала убитых князей. То, что в „Слове о житии“, в агиографической манере, представляет похвальную характеристику героя — Дмитрия Донского, без всякого основания перенесено на убитых князей. Даже явный отголосок жития Александра Невского („и во всех странах славно имя имяше...“) сочтен органичной частью рязанского плача. Таким образом, весь плач Ингваря справедливее рассматривать как риторическое развитие старой рязанской повести, в котором использован плач Евдокии, похвала Дмитрию Донскому и горестные восклицания самого автора „Слова о житии“ („се бо в горести душа моя язык мой связается“ и т. д. — стр. 179). Автор этой рязанской переделки воспользовался материалом из разных частей „Слова о житии“. Этим он отличается от других подражателей, которые заимствовали лишь из плача Евдокии. Плач Юрия Всеволодовича — сокращение рязанского плача Ингваря.

Патриарх Иов, слагая в начале XVII в. „Житие“ царя Федора Иоанновича, несомненно вспоминал не раз оцерковленную биографию Дмитрия Донского — „Слова о житии и о преставлении“ великого князя московского. Гиперболизм в изображении общего сетования по случаю смерти царя Федора и плачевные возгласы самого Иова напоминают плач автора „Слова о житии“, с его церковно-риторическими вопрошаниями и преувеличенным описанием горя. Плач Иова — это, в сущности, публицистическое рассуждение на тему о конце династии, но построенное в манере церковного ораторства, а в лирических местах принимающее форму плача: „Отселе убо что реку и что возглаголю? слез настоящее время, а не словес, плача, а не речи, молитвы, а не бесед. Или откуда начну произносити слово плачевнаго повествования? кое ли преставлю начало слезнаго излития? Како ли возведу время скорбнаго рыдания? како же и коснуся делу, преисполнену уныния? како ли возмогу подробну сказати случившуюся скорбь в земли благочестивыя Руския державы? Хотех убо словом изрещи, но грубость разума запинает ми, и язык утерпевае, и души уныния наносит. Хотех же и писанию предати¹ но руку скорбь удерживает ми“¹. Последние слова прямо ведут к плачу автора „Слова о житии“ Дмитрия Донского, хотя зачин дальнейшего плача строится по библейской формуле (пророка Иеремии гл. IX, I): „зде убо пророческая вещания слово на нас яве совершися: кто даст главе моей премногую воду и очесем моим источник слез, яко да плачу довольно настоящую скорбь сию. О сем же ин пророк глаголет: весь день сетуя хождях“.

Весь следующий за этим гиперболическим описанием горя плач автора состоит из риторически выраженного рассказа о том, что после смерти царя Федора Иоанновича „прекрасный и многолетний царский престол Великия Россия вдовствовати начинает“. То, что в плаче автора в „Житии“ Федора Иоанновича было основной темой — тревога о наследнике престола — в плаче вдовы царя Федора, царицы Ирины окрасило ее горестные сетования, выраженные словами плача Евдокии. В заимствованном из „Слова о житии“ тексте этого плача встречаем такие злободневные вопросы бездетной царицы: „Кому свой царьский скифетр вручаеши... о пастырю добрый, кому стадо свое вручаеши... Увы мне, смиренней вдовице, без чад оставшейся. На кого ли возрю, или о ком утешуся, не имея чад твоего царьскаго корени? Мною бо ныне единою

¹ ПСРА, т. XIV, СПб., 1910, стр. 18.

ваш царьский корень конец прият!... Како ли ныне, прехвалный государь, возмогу управити толикое народу множество? Что убо сотворити о сих, недоумеюся. Аще бых имела чада твоего царьскаго наследия, не толикою б яз печалию сокрушалася: той бы возмог правити державу твоего царьствия“ (стр. 19).

В лирической части плач Ирины риторически распространяет плач Евдокии, отдавая его книжными украшениями от народной причеты, как одного из первоисточников плача XV в. „Звезда восточная“ превратилась под пером патриарха Иова в „звезду златозарную“; простое обращение — „солнце мое“ заменилось риторикой: „о солнце пресветлое, почто светозарная своя луча сокрываеши“, или „великое светозарное мое солнце“; добавлен новый книжный образ — „о ластовица богоглаголивая“; усилены эпитеты, прославляющие царя: „истинный поборник благочестия“, „всяя Великия Россия достохвалный правителю“. Все это отголоски пышного стиля макарьевской школы. Плач Ирины — типичное для конца XVI и начала XVII в. переосмысление старой литературной формы. Усиление книжности в стиле, цветистая пышность даже в выражении личных настроений и тенденциозная публицистичность сближают плач автора и плач вдовы, несмотря на различие их литературных первоисточников.¹

Одерковленный образ Дмитрия Донского послужил примером для автора панегирической биографии отца Грозного, Василия III в Степенной книге. Автор сам указал на сопоставление им этих двух героев.

„Вкратце похвала самодержцу Василию и о построжении его и о чудесном отшествии его к богу“ (стр. 610—615) — панегирик не только всей деятельности Василия III, но и его христианским добродетелям. Именно эта часть его характеристики и построена по типу панегирика Дмитрию Донскому: „Наипаче же всего всегда попечение о души своей имея, многим тщанием подражая богомудрому житию святого и праведного своего прародителя, достохвального великого князя Дмитрия Ивановича Доньскаго; на престоле убо царьском седяи и землю Русьскую управляя, а сердце свое яко пещеру имеяше, царскую багряницу и венець ношаше, в ризы же чернеческия всегда желаше облещися, еже и получи последи“ (сравним в „Слове о житии“: „на престоле седяше, и яко пещеру в сердце дръжаше: царскую багряницу и венець ношаше, а во чернечьскыя ризы по вся дни желаше облещися“). Великая княгиня над умирающим Василием III „плачущи горько, огненныя слезы испущая“ (ср. Евдокия „въсплакася горьким гласом, огненныя слезы от очию испущающе“).

Текстуальные совпадения ограничиваются этими примерами, но в целом преувеличенная похвала добродетелям Василия III, более развитая в этой части, чем в биографиях других московских великих князей, построена в тоне „Слова о житии“ Дмитрия Донского.

¹ Та же мысль о конце династии составляет содержание всенародного плача, которым провозгласили царя при погребении: „камо отходиши, солнце светозарное, нас же, раб своих, сирых оставляеши и свой царьский скипетр и пререликий престол самодержавнаго твоего царьствия по себе кому вручаеши“ (стр. 20—21). Автор настолько весь во власти этой идеи об осиротевшем престоле, что и молитву, с которой патриарх обращается после погребения, он заполняет вариациями все той же тревожной мысли: „кто ли ныне толикий народ в мире упасет... осиротехом и бежом, яко овца не имуща пастыря“ (стр. 21).